

Не зря Нью-Йорк по-русски ОН, Москва — ОНА.

Москва — горизонтальный женский город, где Кремль, лоно по-прежнему секретной, загадочной власти, оброс кольцом бульваров. Концентрическая, круглая, как бублик, Москва раскинулась широко на постели русской равнины, в сонливой истоме, лежит, ковыряет в носу, со своими маковками. В ней женская истеричность, женские очереди, в ней женщин видно больше, чем мужчин. Город бабьей энергии, бабьих коммунальных ссор, охов-вздохов, паники, и московская походка бабья.

Нью-Йорк, напротив, мужской, мускулистый. Город вечного возбуждения, крепкой эрекции, где каждый йаппи — сперматозоид, быстро текущий по тротуару Пятой авеню в солнечный влажный день.

Лучший момент Манхэттена — предобеденная пора, предланчевый парад клерков, с чувством выполненного долга идущих перекусить, и этот парад, с фейерверком дразнящих аппетит запахов, куда убедительнее общегородского разношерстного парада в День труда. Еще мгновение, и загорелые «белые воротнички» затянут общую песню, но, похожие друг на друга, они считают себя слишком разными, чтобы составить хор, песня не получается.

В Нью-Йорке я часто думаю о Павле Корчагине. Не яблоко, не супермен, не гангстер и не полицейский, а именно этот славный парень с безупречной моралью и склонностью к подвигу мог бы стать символом города, похожего на мощную мартеновскую печь.



Моск. новости - 1993. - 9 мая - с. 85

Освобожденный от марксистских иллюзий, бежавший в Америку и разменявший коллективизм на индивидуализм, self-made man, новый американец Павел Корчагин — предел нью-йоркских мечтаний, под сенью которых успешный йаппи или юный торговец наркотиками выглядят подражателями. Но что подлаешь, если история распорядилась иначе? Великий Корчагин помер, небось, на лагерных нарах в Сибири, а его нью-йоркские двойники закалились действительно мертвом.

Я же позволил себе беспечно расслабиться... Боюсь, в этом виноват Майкл Лоуренс. Он появился в моей гостиной со своей подругой Леной, чтобы взять письмо из Москвы. Жизнерадостная черная пара тридцатилетних людей немедленно предложила мне прокатиться по Гарлему.

Казалось, вчера кончилась война (брошенные дома, заколоченные окна, пустыри с битым кирпичом, колючая проволока — зрительный стереотип, но в Нью-Йорке власть стереотипов сильнее индивидуального видения, и это, пожалуй, знак невозможности перемен), однако на коммерческих улицах бойко велась торговля, и многие приветливо махали Майклу рукой. Его знают в округе как человека, придумавшего простой компьютерный метод обучать грамоте взрослых людей. Убежденный, что неграмотность — бич черного Нью-Йорка, теряющего на этом миллионы долларов, Майкл учит своих уличных студентов бесплатно. В его конторе компьютер за ширмой, чтобы не стеснялись учиться, тыча пальцем в экран и слушая подбадривающие возгласы электронной машины... Будь живы Лев Толстой, Чехов и Горький, поборники народной грамотности, они бы написали о Майкле рассказ. Русская литература только и делала, что искала «доброе человека». Я нашел его немедленно... и где? В Нью-Йорке!

Договариваясь о новой встрече, Майкл успел внушить мне, что проблемы расизма, наркомании и преступности в городе несколько преувеличены. Ободренный, не дожидаясь утра, я отправился пешком вниз через весь Манхэттен по Седьмой авеню. Моей вечерней спутницей стала русская эмигрантка Ольга (кентавресса с благоприобретенными гримасами нью-йоркской секретарши и высыхающей ментальностью московской «тусовщицы»), что взялась показать мне джемсейшн в джазовом клубе Ист Виллиджа, а также недавно установленные в соседнем скверике скульптуры двух гомосексуалистов и двух лесбиянок...

С Ольгой я продолжал заниматься сравнениями: «Москва слезам не верит», но это не так, только в Москве и можно все взять следами, нарыдавшись властью в кабинете начальника или в милиции, это город открытых слез и открытых на похоронах гробов, не стыдящийся своего горя, и образ московских похорон — рыдающая женщина и рядом не знающий, как себя вести, мужчина, тогда как в Нью-

Йорке — мужские похороны со скупой слезой, и сила Москвы в готовности к несчастью, страданию, и капитализм Москве — как корове седло...

До новых примет гомосексуальной терпимости было еще далеко, когда на уровне 39-й улицы, пока на «Don't walk» я покорно стоял, сунув руки в белые штаны, из открытого окна проезжавшей машины толстощекий черный парень смачно и точно плюнул мне в лицо. Дружный триумфальный хохот шофера и обидчика. Перепуганное лицо моей спутницы. «Кто они?» — утерся я, глядя в сторону исчезающей машины. «Пуэрториканцы». — «За что?» — «За что у нас в 1937-м сажали?» — «Тогда был террор!» Ольга пожала плечами. «Слуна у него не ядовитая?» — поинтересовался я на всякий случай.

В глубине души я, однако, обрадовался: это была настоящая агрессия, материализовавшая меня в Нью-Йорке. В прищелье, идущего по городу с крутящейся во все стороны головой, Нью-Йорк плюнул не зря, правильно плюнул. Попробуй я заглянуть Москве под юбку, мне бы, наверное, досталась увесистая оплеуха. Нью-Йорк и Москва не любят взгляда извне, постороннего взгляда, в этом они схожи, на этом они бы сошлись, да слишком разные характеры.

Рандэл Корал, ушедший с теплого места в «Vogue», чтобы стать свободным драматургом, и отравивший по этому поводу косячку (символ нью-йоркской независимости), решил, что плевков был неизбежен, как пуля. «Нью-Йорк не Олимпийские игры, а фронт, —

Как закалилась сталь в Нью-Йорке

объяснял он мне в итальянском ресторане, отнюдь, впрочем, не похожем на прифронтовую столовую. — Здесь нужно носить надлежащую форму. Джинсы, футболка и банковская карта в кармане... Иначе прибьют».

«Жизнь в Нью-Йорке наиболее приближена к реальности, — продолжал он, — это гонка на машине по автострате, когда в окно выбрасывают всякий хлам, не думая о тех, кто едет за тобой... Эта метафора самой реальности не оставляет надежды на лучшее в человеке, как экзистенциалистский роман, и все остальное на Земле, включая Париж, заблуждение».

Кстати, если я говорил, что со мной произошла неприятная история, мои нью-йоркские собеседники делали паузы, не спешили расспрашивать, и я стал рассказывать ее как забавную историю: тогда они принимали ее облегченно хохотать... Однако преуспевающие черные, как правило, стремились выбрать слова помягче.

Старший редактор «Уолл-стрит джорнэл» Джозеф Бойс, сидя в небоскребе на Либерти-стрит, глядит на жизнь в Нью-Йорке как на балет: «Здесь нужно уметь танцевать... чтобы не оступиться и не упасть...» Его сын, сказал седоватый душистый редактор, когда к нему пристают в метро, прикидывается придурком, у него трясутся руки и ноги.

«Хорош балет», — подумал я. Оптимисты вроде Бойса считают, что нынешний экономический спад еще больше закалит людей. Трудности и опасности оттачивают ум ньюйоркца, и без того в сравнении с прочей Америкой или москвичом скородума. Именно в Нью-Йорке краткость — сестра таланта, в Москве друзья никак не могут расстаться, в Нью-Йорке никак не встретятся.

Узнав о плевке, добрый Майкл Лоуренс пришел в ужас и, чтобы загладить происшествие, повел меня в гарлемский ресторан Sylvia's, где мы под блюзы съели на редкость приторную негритянскую «душевную пищу», и официанты во главе с певицей спели мне «Happу birthday to you», хотя у меня не было никакого дня рождения. Атмосфера в ресторане была скорее славянская, чем американская. Люди слонялись от столика к столику, лениво болтали, по-русски сутулясь. Майкл был душой общества. Богатеющий брокер с Уолл-стрит, он женился на черной разведенке. Когда на ступеньках негритянской церкви они принимали поздравления, грянула автоматная очередь. Первый муж-ямаец убил наповал свою бывшую жену в присутствии дочки и скрылся. Через несколько дней Майклу намекнули в его компании, чтобы он ушел с работы. Он уехал с девочкой в Калифорнию. Девочку выкрали... Майкл не стерпел, надавил на полицию, убийцу нашли. Он сел в тюрьму и теперь вскоре освободится.

От нью-йоркской судьбы не уйти, но когда моя американская издательница Кэтрин Керт сказала, что, готовая к печати книгу фотографий о беспорядках в Гарлеме в 60-е годы, она

столкнулась с проблемой авторского права — большинство детей, снятых на фотографиях, за эти годы погибли либо от наркотиков, либо в перестрелке, — я все-таки засомневался: а вдруг в самом деле преувеличение?

В черном Brownsville'e, восточном районе Бруклина, мои сомнения несколько рассеялись. Туда мы приехали на вызывающе красной машине вместе с Грэггом Дональдсоном, отчаянным гуманистом, ненавидящим сытый Манхэттен. На однотипных грязных домах, напомнивших мне подмосковные рабочие поселки, попадались яркие надписи: In memory of... В память о погибших в перестрелке людях. Вообще это зона всеобщего отупения. Здесь школьники носят оружие в школу, и старшие боятся младших, потому что те стреляют из-за пустяков.

В худом сорокашестилетнем Грэге есть своего рода безумие. Он изучал историю в Брауновском университете и, вместо того чтобы служить в армии, пошел учителем в бруклинскую школу с плохой репутацией. Он был, наверное, наиболее радикальным белым американцем, которого я встретил за свои поездки в Америку. Это был особенный радикализм, перерастающий в возбуждение от опасности и человеческой грязи.

«Как дела?» — Грэг останавливается у машины знакомого черного полицейского. «Погода помогает», — отвечает тот. «Хуже будет, когда наденут куртки». «Почему?» — встречаю я. «Оружие», — лыбится полицейский.

Возвращаясь назад через Бруклинский мост, мы невольно залюбовались открыточным видом ночного Манхэттена.

«Вот наш сексуальный Макдональдс», — гостеприимно сообщил мне владелец одного из Peerland'a в районе 42-й улицы. Мне показывал эти «Макдональдсы» Гил Рэвил, обозреватель общегородской порнографической газеты «Screw».

«В этих заведениях секс биологически запрограммирован», — меланхолически заметил Гил (очки и тоже косичка) за ужином в корейском ресторане (потому что Нью-Йорк — это рестораны, рестораны, рестораны...), где я познакомился с его женой. Тут выясняется, что они оба поэты, поклонники Йетса и влюбители Бродского. Как тургеневская барышня, Гил зарделся от признания: он пишет классические сонеты... Он не сказал своим родителям, что работает в «Screw», те бы с ума сошли! Но писать стихи здесь еще более стыдно.

Почему меня потянуло на двоих? Наверное, хотелось разобраться в причинах устойчиво отрицательного отношения русской интеллигенции к Нью-Йорку: от Горького до такого антикоммуниста и западника, как Аксенов, который сказал мне, что именно в Нью-Йорке осуществился ленинский лозунг: «Искусство принадлежит народу».

С Леной, подругой Майкла Лоуренса, мы придумали злую шутку. Черная девушка со сложной семейной историей, прожив всю жизнь в Москве, переселилась в Нью-Йорк. Естественно, мы говорили с ней по-русски, и немедленно следовал вопрос: на каком языке вы говорите? Его задавали таксисты, официанты, мои новые друзья... «На русском», — отвечал я. «Хорошо», — говорили они, — но почему она говорит по-русски?» — «Она из России». — «То есть как?» «А так, — спокойно говорил я. — Большинство русских черные». «Как черные?» «Как? — удивлялся я в свой черед. — Вы об этом не знали?» Мои собеседники замолкали на мгновение, а дальше происходил взрыв: «Я давно догадывался об этом! Но почему же наши чертовы газеты и телевидение никогда не показывают черных русских?! Это же расизм!» «Конечно, — говорил я. — Неужели никогда не показывают?»

Это было жестоко, но за исключением интеллектуалов покупались все! Возмущались! Удивлялись! Сначала мы дико смеялись. Потом я схватился за голову. Ведь это Нью-Йорк! Центр вселенной!

Москва и Нью-Йорк — это два инвалида, но без разных конечностей. У Москвы нет ноги свободы, и любые сегодняшние (сельцинские) протезы только натирают усталый обрубок. У Нью-Йорка нет ноги культуры. Она просто не отросла за неимением времени и надобности.

«Конец близится», — подытожила свой рассказ о закате нью-йоркского «блеска» модная, «острая» писательница Джоан Бак со смешком Кассандры, приличествующим полюбавной обстановке кабака «Русский самовар». Наверное, с такими прогнозами рождается каждое новое поколение интеллектуалов. Однако культура без свободы не менее гротескная вещь, чем свобода без культуры, и односторонний инвалид даже при желании может выступать только на Олимпиаде для инвалидов.

На эти гонки Европа может взирать с высокомерием до поры, пока один из калек или оба инвалида не переломают ей собственные конечности. Из хулиганства. Или из зависти. Скорее всего, по неосторожности... Но вид на Манхэттен с Бруклинского моста дивный, ей Богу, дивный.

Виктор ЕРОФЕЕВ